

МОИ ОТРАДНЫЕ ДЕНЬКИ



АЛЕНСАНДР МИХАЙЛОВ
Писатель и сценарист.
Родился в 1986 году
в г. Нерюнгри Республики
Саха (Якутия). Выпускник
магистерской программы
«Литературное мастер-

ство» НИУ ВШЭ и Creative
Writing School. Публико-
вался в альманахе «Пашня».
Изучал режиссуру театра
и драматургию. Профессио-
нальный мечтатель, лентяй,
завистник.

Жизнь, слава богу, прошла, эта случайная череда ощущений и беспокойств, но я могу еще вспоминать, память – это последнее, что связывает меня с прошлым. Я надеялась, что время рано или поздно исправит этот недостаток. Я думала, хуже быть не может. Я ошибалась. Мне вспоминается, как однажды за нашим сараем, где раньше стригли овец, я ковырнула лопатой кучу перегноя и впервые увидела клубок отвратительных копошащихся в навозе червей. И вот столько лет спустя эти извивающиеся в куске дерьма жалкие слепцы представляются мне моими милыми давно прошедшими деньками – хи – когда-то новыми. Все они бесполезно хранятся во мне, и от них мне никуда не деться. Я знаю, что есть способ помочь себе самой. Для этого нужно приложить усилие, всего лишь одно, но точное. И я знаю, что никогда не смогу. Остается уповать, что Господь смилостивится надо мной и избавит от этой дурной привычки без конца ворошить перегной прошлого. Но говоря откровенно, не шибко-то Он милостивый. Пока же я вынуждена и дальше выполнять свою маленькую работенку: быть, дожидаться и стараться не вспоминать. Например, как случайно все началось. Пахло земель. Я имею в виду не обязательно, то есть я могла бы и не родиться вовсе или сначала умереть, а потом уже родиться. Или появиться на свет с огромной водянистой головой, похожей на воздушный шарик; или прилепленной еще к какому-

нибудь пассажиру, точно нас двоих насильно усадили на одно место. Кажется, нет предела тому, что могло бы случиться, или тому, что может поведать кучка навозных червей, вытасненных на свет божий.

Я родилась в Березовке, и моего отца звали, надеюсь, Алексей. Он вечно где-то пропадал. Дома оказывался, только когда его приносили избитого или больного. Или он сам случайно забредал. Его страстью было разговаривать с насекомыми – так что надежды на него было мало. Отца часто можно было видеть идущим проселочной дорогой или через заросшие поля. Он гулял, где никто не ходил; спотыкался о кочки и рытвины, падал в канавы, поднимался, падал снова. Он ходил и ходил, размахивал руками, плевал в ненастное небо, грозил ему кулаком и что-то втолковывал мошкаре.

Его знали далеко за пределами нашей деревни, считали слабым на голову, а он не придавал этому значения. Он просто забывал, что все мы существуем.

Его переполняли собственные ускользающие от нас заботы. Ему необходимо было выяснить отношения и призвать к ответу... вот, правда, не помню кого. Это была его мания. Погодите, попробую вспомнить, я точно знаю, что для него это был кто-то очень важный.

Нет, не помню. Отец называл его по-разному, либо просто говорил: он. Часто при этом добавляя: гребанный. В сущности, папаша был ничего-так-себе роди-

тель, добрый малый, хоть и малахольный. Неудивительно, почему мать предпочитала иметь дело с его братом. Этот был полная противоположностью отцу. Он интересовался всевозможными делами, обожал петь и знал тысячи ругательств, самых неожиданных, Сашка – так его называли. У него был красивый высокий голос, и он говорил, что соперничает только с дроздами и вертишейками. Так и говорил: с дроздами и вертишейками. Трындеть он был мастер. Не знаю, чем насолили ему дрозды и вертишейки, но каждый день он усаживался на крыльце нашего дома и закатывал концерт. Всем очень нравилось. К несчастью, его одолевали разгульные порывы. О, это было сильнее его. Приступы возбуждения приводили его в неконтролируемое состояние, ставили под сомнение его жизнеспособность в целом. Его даже подергивало. Было ясно: его век короткий. Как-то осенью у него произошли значительные расхождения с зубами, и по неизвестной мне причине они его покинули, не исключено, что их кто-то на это подбил – хи! – какая я шутница, будто мне снова всего восемьдесят! С тех пор он замолчал. И уже всегда держал рот на замке, благодаря чему его стали считать человеком рассудительным и надежным. Однажды на охоте Гриша-печник пальнул из ружья прямо в сантиметре от Сашкиного уха, оперев ружье о его плечо. После этого случая Сашка утверждал, что ничего не слышит, и со временем заставил всех в деревне поверить в это. В его присутствии обсуждали самые разные проблемы, говорили открыто на любые темы, перемывали кости соседям, в том числе и ему. Сашка и бровью не вел. Он слышал все. Он прибывал на сапоги войлочные набивки, ходил очень тихо и многое знал. В общем-то, он здорово помогал нам по хозяйству, пока папаша разгуливал в компании комаров. Раз подарил нам телка. Я очень его любила, называла Жопкой, не Сашку, а телка, Сашку Жопкой называла мамаша, но он запрещал так себя называть, а мамаша постоянно стегала его кнутом, не Сашку, а телка.

Дедов я не знала, бабку свою помню едва, лишь ее юношеские усики с бородкой – вот как у меня теперь, только у нее было нечто в татаро-монгольском стиле, я же сделала выбор в пользу элегантной непринужденности. Но не суть. Бабка жила в пристройке дома, окруженной огромными кустами смородины, и никого к себе не пускала. Покидать ее она тоже отказывалась. Мать передавала ей пищу через выпиленное окошко, забирала ведро-парашу. Порой мне или братьям поручали отнести ей дров. Я оставляла поленья у входа, подкрадывалась к окну и пыталась разглядеть, что же было там такого пленительного внутри.

За мутным стеклом была лишь крошечная тьма, которую она избрала своим последним прибежищем. Вот и все. И едва белела крошечная сухая голова, замотанная в платок. Если она замечала, что кто-то подглядывает, тут же принималась материться и звать сына. После морозной и долгой зимы пристройку снесли. Кажется, вместе с ней. Мать остервенело разносила эту пристройку по досочкам. Больше такой счастливой я ее уже никогда не видела. Я вообще предпочитала на нее не смотреть и в доме с ней не сталкиваться. Говорю как есть: я не любила свою мать. Но думаю, что понимала. Она старалась. Тащила себя через жизнь как могла. За свой век она родила семнадцать детей, из которых только четверо выжили, я и три младших брата. Остальные умирали, не дожив и до двадцати. Они тонули в прудах, падали с мостов, сгорали в сараях, травились водкой, замерзали на дорогах, истекали кровью, не говоря уже об обычных болезнях, свойственных человеку. Но вопреки тому, что молодое поколение нашей семьи спешило покинуть этот мир так рано, а может быть, как раз вовремя, Сашка не отчаивался, он все силы прикладывал, чтобы помочь брату Алексею продлить наш род. И хоть фамилия наша была Трохины, все нас звали Алексашинами. Моя мать была не против. Она с многими была не против. «Главное, чтоб польза была», – любила повторять она. Чтоб не беспокоить нас по ночам, она принимала в дровянике. В нее свободно входили, радостно осваивали, легко покидали. Наутро я обнаруживала в предбаннике то корзину грибов, то курицу, то банку молока, то масло, яйца, в общем, разное. Ага, разное. Сашка домогался, не против ли я. А что я? Нормально. Я была не против. В те деньки я была такая ветреница. Хи! По крайней мере, это избавляло меня от взбучек в течение дня. Мать знала назубок неотъемлемое свойство всех ребенков этого мира – если их хорошенько отлупить, они прекращают просить еды. И она умела этим пользоваться. Она каждый день находила тысячу причин, по которым ее праведный гнев мог обрушиться на нас. Следом шли пинки, оплеухи... наотмашь... удары ремнем... по спине... поленом... все, что приносит боль, не калеча работника, и сохраняет его работоспособность. Такое не забываешь. Так что в четырнадцать, окрепнув и став сильнее большинства деревенских мальчишек, я хорошенько вломила мамаше. Она не на шутку испугалась. Словом, жизнь начала налаживаться. Но это оказалось уж очень скоротечным и эфемерным. Как радуга. Поскольку уже через пару месяцев по всему нашему семейству был нанесен настоящий удар.

Его нанес Жопка. То и дело мычали коровы. И молодой бык, начавший, как и я, отстаивать себя, сокрушительно лягнул Сашку в промежность. Случай всегда поджидает, чтобы прикончить вас. В это я еще в детстве врубилась. В полустоячем положении Сашка вернулся к себе домой и удалился на печь. Последующие дни он не сходил с нее и становился все слабее и слабее, пока не скончался. Это была непоправимая потеря для нашей семьи. Мать охватило форменное иступление... Она выла, как подожженная кошка... Солнца уже не было. Она схватила ружье и выстрелила в Жопку... из обоих стволов... в самое брюхо... Он долго умирал. Уже взошла луна, а его мучения все не прекращались. Лежа на боку, он учащенно дышал, устремив взгляд на длинное деревянное корыто-поилку, а в распахнутые двери коровника задувал ветер. Я не умела ему помочь, и он никак не мог умереть; стонал, прощаясь с другими животными, и я уверена, что и со мной... Как только его глаза подернулись пленкой, не став дожидаться утра, я сбегала из дома, нет, неточно, я просто ушла. Никто меня не держал. Ветер стих. Я собрала небольшой узелок, вышла на крыльцо, спустилась с него; прошла мимо дровяника, из которого раздавались знакомые мне звуки, подошла к калитке, потом сняла со столбика проволоку и открыла калитку. Так постояла во тьме, слушая шорохи дикого леса и то, что происходило в дровянике; Господи, на небе было столько звезд! Они то и дело падали и падали, невозможно было угадать, откуда полетит следующая. Затем я вернулась к дровянику и подпала его, потом аккуратно закрыла за собой калитку.

Я отправилась на железнодорожную станцию. Шла и шла. И когда мир вокруг уже серел и становился плоским, на противоположной стороне дороги я увидела одинокую фигуру, нет, не на дороге – на обочине. Было непонятно, женщина это или мужчина. Я всегда была осторожна на этот счет, потому как обо мне даже при свете дня всю жизнь говорят то же самое. Женщина или мужчина двигался в том же направлении, только по отросшей траве сбоку дороги, и штаны на человеке были по колено мокрые. Я говорю «на человеке», потому что на это было более всего похоже. Довольно быстро я нагнала фигуру и тогда уж разглядела, что это был мужчина. Я говорю «мужчина», потому что на мужчину это было более всего похоже. Мужчина остановился и стал ждать, пока я приближусь. Когда я подошла, он спросил, куда я направляюсь. Я сказала. Спросил, сколько мне лет. Я сказала. Почему я одна? Я ответила. «Хорошо», – сказал он, повернулся и двинулся дальше. Я дала ему пройти чуть вперед

и последовала за ним. Шла по дороге рядом, как дворняга бредет за человеком. Он продолжал свой путь по обочине, загребая ногами траву. Там, где растительность была особенно высокой, он трогал ее ладонями, отчего рукава его телогрейки тоже были мокрыми. Прежде я таких не встречала, от него не было ощущения опасности, как обычно бывало от людей. Скорее он походил на мертвеца, и с ним мне было спокойно, поэтому на развилке я пропустила свой поворот на станцию.

Молча. Мы шли и шли. Через заброшенные поля. Смотрели, как сбоку от нас вставало солнце. Оно еще не набрало силу, и можно было смотреть на него не шурясь. Оно перекачивалось и переливалось, но тепло не становилось. «Солнце лукаво», – сказал он. Я ни хрена не поняла, что это значило. Мы дошли до какой-то деревни и сели на лавку у крайнего дома. Тут уж я смогла рассмотреть его как следует. Он был такой же, как все, как вы или кто-то другой, примерно вашего возраста, такой же ширины, толщины и роста того же, то есть костлявый, уродливый, истрепанный, убогий, изможденный, с остатками гнилых зубов, таскавшийся по земле. «Моя фамилия Гоб, – сказал он, – люди всегда меня звали Гоб. Я тоже имею дурную привычку ждать и надеяться. Ха. Г-О-Б. Анаграмма бога, – говорил Гоб, – ха-ха». Он испустил газы. «Не говори “гоб”, пока не перепрыгнешь. Ха-ха-ха.» Гоб рыгал и посмеивался, из нутра у него сильно воняло. «Я коновал... Я хожу от одной деревни к другой и помогаю животным, но не людям. Ха. Но они думают, что я помогаю им. Ха-ха. Но люди меня никогда не интересовали. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха». Гоб напоминал мне отца.

Отдохнув, мы двинулись дальше. До полудня прошли еще две деревни, и когда день уже клонился к вечеру, мы оказались на богатом хозяйстве: несколько овчарен, свинарники, конюшня, всякие там постройки, навесы, амбары, земли море! Нам навстречу выскочила свора собак и стала кружиться у наших ног. Следом появился старик, но не подошел к нам, а только молча разглядывал нас на расстоянии. Одежда на нем была невозможно дырявая, сплошные лохмотья, один рукав куртки оторвался и висел на лоскуте ткани. Собак он не отозвал, и они продолжали облаивать нас. «Я Гоб», – сказал Гоб. Старик назвал себя, прикрикнул на собак и знаком велел следовать за ним, так мы и сделали. Он привел нас к себе на конюшню. В самом конце за стойлами была клетушка напротив комнатки конюха – нам отвели ее и дали по ватному одеялу. Мы накидали туда сена, там нас покормили, там мы отдохнули, походили, осмотрелись; там провели ночь. Лежа в темноте,

я слушала, как изредка, во сне, посапывали лошади да где-то далеко друг с другом перелаивались собачки, и пахло соломой, а ночной свет опускался через зазоры в углу крыши. Мне было четырнадцать. Ночью прошел дождь. И посапывали лошади...

Следующие три дня мы работали в коровнике и на конюшне: вставали до рассвета, обрезали копыта, удаляли рога, клеймили, делали выщипы. Я говорю «мы», потому что я так хочу, но, конечно, в счет шел только Гоб. Но я во всем помогала ему, и у меня неплохо получалось. Благодаря своей физической силе я могла одна завалить бычка и удерживать его, пока Гоб его холостил. Позже я научилась справляться с этим сама и, не побоюсь впасть в преувеличение, с годами достигла небывалых высот в области кастрации. Я виртуозно холостила барашков, бычков, жеребят, поросят и козчиков, умалчивая уже о петушках. Люди специально собирались посмотреть на мое мастерство. Я изобрела свой неподражаемый способ. Это требовало незаурядной ловкости и вызывало всеобщее восхищение. Мужчины ахали, женщины вздыхали, дети смеялись. Но тогда я еще только всему училась у Гоба. Он показывал мне, как делать мази, лечить скотину, пускать кровь. Мне нравилось проводить дни на скотном дворе, вдыхать эти запахи, слышать пощелкивание хлыстов. Я давала корм, чистила шкуры и стойла, стреножила, выводила на выпас. При моем появлении животные поднимали головы и, не прекращая жевать, смотрели на меня своими влажными глазами. А я чувствовала себя надежно среди них. Мы разговаривали. Я советовалась с ними, делилась размышлениями. Я им многое рассказывала, чего не рассказала бы никому никогда. Гоб видел, что я понимала животных лучше других и тем более лучше его. То есть я не говорю, что понимала животных лучше, чем Гоб. Я хочу сказать, что понимала их лучше, чем понимала Гоба. Что касается других людей, то они нас сторонились, и меня это устраивало.

Мы приходили и уходили, мимо одних мест в другие, из других мест в новые, возвращались и не возвращались. Ускользали прежде, чем кто-либо успевал сообразить, чем еще мы можем быть выгодны. Мы напоминали лесных дикарей. Гоб так вообще предпочитал спать на улице. К людям он был безразличен. На худой конец, он ночевал в хлеву вместе со скотиной. Только серьезные холода могли загнать его в дом. Тогда он рассказывал мне о душах животных и как их можно услышать. Многие пускавшие нас переночевать явно считали, что мы сумасшедшие, потому были весьма предупредительны с нами, особенно женщины. Некоторые мужчины, те, что по-

старше, заговаривали с Гобом, спрашивали обо мне. Гоб отмалчивался, иногда согласно кивал. Его отношение ко мне можно было назвать снисхождением. В нем не было ни сочувствия, ни доброты, ни жалости. Он просто позволял следовать за ним. «Хочешь – уходи», – говорил он. Я терпела. «Нам надо идти туда», – говорил он. И мы шли туда. «Оставайся здесь», – говорил он. И исчезал. Потом объявлялся, ни слова не говоря, точно тех дней, что его не было, и вовсе не было. Я боялась, что однажды он не вернется. Так и вышло. В точно такую же ночь. Я заболела, и Гоб оставил меня. Не уверена, что случилось первым. Из-за прошедшей грозы ночь захватила нас в поле, тогда у меня и случился выкидыш. Дул холодный ночной ветер. И долго на сырой земле не удавалось развести огонь. Наконец удалось. Гоб взял мешок, все убрал, ушел с этим мешком в темноту. Через некоторое время вернулся из темноты, спросил, смогу ли я идти дальше. «Нет», – ответила я. «Ясно», – сказал он, так постоял, повернулся и пошел прочь. Он удалялся во мрак, свет от костра еще немного выхватывал его спину, и было слышно, как его шаги приминают высокую траву. Дальше я была одна. С трудом у меня получилось подтащить ветку дерева и бросить конец ее в огонь. Взметнулся столп искр и тут же растворился в ночи. Пламя стало еще меньше. Кругом меня была тьма; и миллионы звезд на небе, а за звездами снова одна сплошная тьма. В ту ночь я лежала, скрючившись на подстилке, дрожа всем телом, смотрела на переливающиеся угли и слушала, как по ту сторону границы света от костра раздаются шепоты и крики всяких ночных гадов. Над огнем проносились летучие мыши. Угли потрескивали. А от земли шел холод. И так длилось и длилось. Многие и многие годы. Пока в какой-то отдаленной части неба не засерел свет нового дня, слабый свет очередного нового дня, бледный бессильный свет зачем-то нового дня.

Тогда я встала, если это можно было назвать вставанием, и пошла, какой есть, нет, какой была, с запекшейся кровью и в лохмотьях, в которых была, без сил, без цели, друга, хлеба, Гоба, и устремилась по пыльной пустой дороге, по чьему-то пути, в чужом направлении, мимо незасеянных полей, в которых не было ни мужчин, ни женщин, которые возделывали бы землю, а при моем приближении прикладывали бы ладони козырьком ко лбу, рассматривая меня или махали бы мне рукой, приглашая остановиться и разделить с ними сколько есть, нет, сколько было, хлеба, друзей, надежд, планов и так далее, пока дни бы мои не завершились или со мной не произошло несколько самых простых, заурядных вещей, привычных для

каждого человека, а лучше и то и другое, потому что невозможно не мечтать, не надеяться, не искать и не ждать, потому что невозможно.

Стояло лето. Лето! Со всем летним, причитающимся этому времени года. Все было летнее. И сверху, и снизу, и по сторонам. А после того, как закончилось лето, закончилась осень и так далее, а я жила в Ирово, в маленькой деревне, где меня приняли, пожалуй, смену ритм, манеру, чтобы не уснуть. Попробую ускориться, мой мочесборник уже полон. Дальше.

У Вани, кроме доплаты по инвалидности, были черные смысленные глаза и длинные ресницы. Как у Жопки. Хоть попилал он и не в меру, но считался завидным женихом, обладавшим внушительным хозяйством, просто залюбуешься – и здесь я говорю о совокупности всех средств производства, используемых для создания и улучшения условий существования. В нем все было как надо. Не хватало лишь ног, что делало его весьма ограниченным в передвижениях. Нелепый случай. На посевных прилег вздремнуть в тенек под трактор – его и не заметили... Подняться самостоятельно он уже не мог.

До того, как появилась я, за ним ухаживала его сестра Рая. Она-то и углядела меня, когда я брела через их деревню. Удивительно, какой остроты стало достигать ее зрение после того, как в масленичную неделю ее муж, о котором я умолчу, выбил ей глаз кнутом. Имея оба глаза, уверена, она бы меня и не заметила. Увы, не в пример зрению, Райна трудоспособность сильно преуменьшалась хроническими запорами, отчего большую часть дня она проводила в незатейливом деревянном строении, а также в нескончаемых потугах и глубоких размышлениях. Но сидя там, где сидела, Рая не предавалась пустой софистике, о нет, она неустанно плела корзины, которыми торговал ее муженек.

Немудрено, что Ване все это доставляло значительные неудобства, и в их доме я пришлась как раз кстати. Признаюсь, меня это здорово утешало. Нет-нет, я не строила иллюзий на свой счет. Ни в коей степени я не была приятной наружности. Я понимала, что Ваню во мне привлекала исключительно моя мощь. Очевидно, они с сестрой рассчитывали использовать меня для сельскохозяйственных работ. Но я была молодая девушка. У меня никого не было. И временами мне бывало одиноко. Как вот сейчас.

Хорошенько подумав, я признаю, что пребываю в этом состоянии всю свою жизнь. Да-а-а...

Можно было ожидать, что, оказавшись обеими ногами в могиле, Ваня будет охвачен отчаянием и новое положение вещей сломит его. Но не тут-то было! Ваня был искренне рад, что случай избавил его от

двух докучливых конечностей, служащих постоянным поводом для работы. Теперь же он был свободный человек. Труд оставил его. Никто ничего от него не требовал и не ждал. Он вел тихую, мирную, а главным образом созерцательную жизнь. Потеряв ноги, он впервые за многие годы стал счастлив. «Что за деньки!» – с явным удовольствием приговаривал он. Ваня расцветал. Я выносила его с утра на крыльцо, где он и оставался, встречая и провожая солнце, вплоть до самого вечера. Дом их окружали старые березы, и даже в жаркие дни на дворе была тень. Ваня наловчился одной рукой приспускать штаны, другой рукой опирался о ступеньку, щебетали птицы, и, повернувшись на бок и слегка изогнувшись, мочился с крыльца. Иногда я замечала, что он засыпал, нижняя челюсть его отвисала, а изо рта, поблескивая в лучах солнца, протягивалась нитка слюны. Ваня начинал опасно крениться. Тогда я бросала работу и передвигала его, точно болванку, на солнышко или в тенек, по-разному. В целом хлопот с ним было мало, он был тихий алкоголик, одно слово – сокровище.

По праздникам Ваня обожал устраивать у нас во дворе гуляния. Накануне я выставляла под березами в ряд столы, перевязывала их шпагатом, чтобы не разъезжались. От соседей притаскивала скамейки. Райка выползала из своей пещеры и целый день готовила. Каждый без исключения был охвачен приятным волнением. В день праздника собиралось множество народу. Ванину щедрость знали все. Приходили даже из соседних деревень со своими стульями. Я разносила еду. Райка усаживала брата во главе стола, и он произносил первый тост. Подняв стакан и дождавшись тишины, он напоминал всем собравшимся, что в жизни нашей ничто не случайно и порой может показаться, что все мы отданы на волю случая, но это не так. За всем стоит непостижимая иная логика, и он отчетливо ощущает ее. Теперь, целыми днями напролет, со своего крыльца он без усталости следит за тем, как встает и садится солнце. Оно очень пунктуально, должен доложить он, и дирижует всем, что находится под ним, всяким дыханием. Каждый божий день он убеждается в этом. И порой несчастье является скрытым благом, вот если бы он не потерял ноги и тому подобное, словом, трепотня. После его выступления все наконец принимались за угощения. Накладывали себе горы еды, двор наполнялся звуками работающих челюстей и глотающих глоток. Самогон пили из кружек, проглатывая вместе с утонувшими в них осами. Зубы вгрызались в кости... рвали мясо, трещали хрящи... вибратор отрыжек и газов, чавканье

и бульканье... это было что-то невероятное... птицы переставали петь... к вечеру выставляли брагу.

В одно из таких гуляний, когда подъели все подчистую, Ваня заставил меня продемонстрировать перед гостями свое мастерство. Ничего не поделаешь, публика требовала развлечений. Уже садилось солнце, когда от Курниковых привели барашка. Рая встала и прошла в дом. Несколько минут спустя она вернулась, неся в руке мясницкий фартук и мою дорожную сумку. Затем передала их мне. Барашка загнали прямо к столам, обступив со всех сторон. У животинки не было ни единого шанса, уже довольно взрослый и крупный, он пытался вырваться из окружения. Вечно одно и то же. Я схватила его, подмяла под себя, повалила на бок и вытащила из-за пояса веревку, потом связала вместе три ноги, а свободную заднюю одной рукой подтянула к плечу, уселась на землю и выложила его у себя на коленях. Животное лихорадочно дергалось, пытаясь вырваться. Охваченный диким страхом, барашек обгадился, но в жизни это еще никого не спасало. Мне подали инструменты, я приняла их, переложила нож в правую руку, а левой захватила и оттянула мошонку. Голова его стала мотаться во все стороны, животом и бедрами я ощущала, как бешено колотится кровь по его артериям и венам, и тогда рукой, которой я держала нож, я прижала его голову к своей шее. Крепко-крепко. Из ноздрей у животного вырывалось горячее дыхание, а из пасти летела слюна, и в черных, полных ужаса глазах отражалась я. И столпившиеся в круг люди, от которых ему было уже не деться, и их длинные тени. Пальцами я стала поглаживать барашку голову и тихо сказала ему на ухо, сказала, как научил меня Гоб, сказала, как есть, как было и будет, сказала ему: я делаю это просто так. Гости радостно вопили, тыча в нас пальцами, а за их спинами тянулись в пустое небо деревья, дальше шла линия проводов, и еще дальше, над всеми нами, висело красное солнце. Подумать только, я и не представляла, что так хорошо запомнила все детали. Тушу выпотрошили и повесили на молодую березу охладиться. Ручейки крови, стекая с туши, бежали по траве, отыскивая и прокладывая себе путь. К тому моменту, как сгустились сумерки, дети уже вырыли яму в крапиве у ручья, куда и закопали шкуру с потрохами. Взрослые до глубокой ночи не прекращали веселиться. О туше вспомнили только на следующий день, но она уже подтухла на жару. В беспорядочном движении вокруг нее кружили мухи – здоровенные, как ласточки.

А потом Ваня обожрался и умер. Почил в бозе, выжаясь его слогом. Прямо во время одного из своих застолий. Что-то вроде апоплексического удара.

Солнышко, лукавый дирижер, добило его. Схоронили быстро, без речей, народу было мало, мертвый издавал зловоние. Засунули его в рыжую-рыжую землю, сухую и жесткую. Рая сплела из ивовых веток и прутьев ему ноги, и для гроба надела штаны. Ножи получились худенькие и угловатые, но зато Ваня обрел свой былой рост, и многие, видя его в гробу, удивлялись. В коре веток жили муравьи, и во время прощания они шнуровали по лицу покойника туда-сюда, эти неугомонные пилигримы. В ноздрях у них было что-то вроде Нового Света. Их похоронили вместе. Когда засыпали, комья сохлой земли стучались в крышку гроба, точно возвратившийся управитель ждал, пока ему откроют. А оттуда, из ямы, поднималось облако красноватой пыли. Оно вырывалось из земли и, оказавшись снаружи, охватывало всех нас, рядом стоявших, обнимало и словно звало в эту яму последовать. Под одеждой пот тек ручьями, мы читали молитвы, а на лицах оседала красноватая пыль. Обрато лошади еле ташились по жару.

После Ваниной смерти Рая распродала все хозяйство, оставив для себя только малую часть. Она по-прежнему проводила дни своей жизни в отхожем месте, еще сильнее тужась и еще крепче размышляя о чем-то своем. А у меня появилось много ненужного времени. И я уходила гулять. Бродила по старому лесу, луговинам и пажитям, поднималась на дикий бугор. Ходила и ходила. Как когда-то с Гобом. По выгоревшим полям. Таращилась на рябую землю, твердую и унылую; глядела в пустую даль. И начинала понимать, что искал мой отец и почему не мог от этого отказаться. Я стала, как и он, разговаривать сама с собой. Я пришла из... говорила я в пустоту, то есть в окружающий мир, и описывала место, откуда я пришла. Я родилась в... говорила я, и рассказывала где и обстоятельства своего детства. Моя несчастная мама и отец-идиот, говорила я, и их портреты представляли вновь перед моими глазами. Еще говорила я: в четырнадцать лет мой дядя, любимый Жопка, потом гребаный Гоб и вот наконец. Никто меня не слышал.

Один раз в поле я натолкнулась на границу дождя. Меня это поразило. Граница была прямо передо мной. Не было ни ветра, ни облаков на небе, ни запаха дождя. Но он был. Дождь. Лил прямо напротив меня, а там, где я стояла, было сухо, ни капли. По ту сторону все напITYвалось влагой. Земля становилась мокрой, листья на деревьях подергивались под ударами капель, а травы трепетали; птицы с поля слетались туда. А я стояла, как замороженная. Стояла не шевелясь и смотрела на дождь. Пока он не прекратился. И больше дождя не было. Нигде.